

RECENZIJOS

Kraft Skalwynas G. *Grammatika prūsiskas kalbas, pobānda swaisēs ernaunsnas. Für Freunde in der Tolkemita.* Dieburg, Landhaus Vogelsang, 1982. — 42 S¹.

Несмотря на свой малый объем, грамматика возрождаемого мертвого языка представляет собой событие в истории прусситики. Понадобилось более полувека, унесшего в небытие само название земли Пруссия, чтобы смутные идеи первых немецких энтузиастов стали обретать лингвистическую плоть. В городке Дибург к востоку от Дармштадта, земля Гессен, по инициативе Рутеле Кауфманн-Толькемитт в 1980 г. создано общество „Толькемита“, объединяющее ныне около 70 членов. В его задачу входит собирание всего, что уцелело от духовной и материальной культуры древних пруссов, распространение знаний о древних пруссах как самобытной нации, ставшей жертвой немецкой экспансии на Восток, а также оживление языка на основе дошедших до нас письменных памятников, немецко-пруссских фрагментарных билингв, топонимов, антропонимов, предполагаемых следов в восточнопрусском немецком диалекте. При этом недостающая лексика ши-

роко восполняется лексикой родственных латышского и литовского языков.

Член общества Гюнтер Крафт-Скальвинас, не будучи языковедом балтистом, выполнил достойную удивления и восхищения работу по составлению для пользования в „Толькемите“ грамматики восстановленного („обновленного“) прусского языка².

Грамматика, которую предлагает общество „Толькемита“, составлена на немецком языке и включает три части (*dellikai*) — морфологию, синтаксис и сведения о диалектах. Содержащие грамматические термины наименования параграфов каждой части даются с параллельным новопрусским переводом. На последней, 42-й, странице издания имеется список этих новопрусских терминов с обоснованием их деривации, напр., *kalba Sprache* (lit.; ostpr.: „kalbēken“), *kur-kazus Lokativ* (lit.-lat., „Wo-Fall“)³. Если бы язык „Толькемиты“ был адекватным развитием древнепрусского языка, а не произвольно созданным языком, мы располагали бы терминами, имеющими обоснование в самом прусском языке, напр., *kwei-kazus* вместо незасвидетельствованного в прусском литовско-латышского *kur*. Ведь, не

¹ Это второе издание, теперь готовится третье, существенно отличающееся от второго.

² Независимо от „Толькемиты“, призыв к воссозданию прусского языка изложен и обоснован В. Н. Топоровым и мной в „Балто-славянских исследованиях 1983“ (с. 36—63). Там же образцы парадигм и текстов.

³ В готовящемся новом издании грамматики не имеющее опоры в прусском языке литовское слово *kalba* заменено на принятое нами *bilā* (от глагола *billā* „говорит“), поскольку *kalbēken*, вероятно, связан с презрительным обозначением немцами именно литовской речи, превратившимся позднее в жаргонизм. Для слова „речь“ (не „язык“) годится *garbā*.

говоря о том, что *quei* III — несомненно прусское явление, совпадение восточнобалтийских литовских и латышских идиомовсе не является гарантией наличия соответствующей идиомы в западнобалтийском прусском языке, ср.: прус. *emmens* — лит. *vardas*, лтш. *vārds* „имя“; прус. *syrne* E [ziŋnē] — лит. *grūdas*, лтш. *grauds* „зерно“; прус. *kails* — лит. *sveikas*, лтш. *sveiks* „здоровый, целый“; прус. *kērdan* — лит. *laikas*, лтш. *laiks* „время“ и т. д., причем в приведенных случаях прусский ближе к славянскому (ср. рус. *имя, зерно, целый, черед*), чем к восточнобалтийскому.

Хотелось бы обратить внимание членов „Толькемиты“ и самого автора грамматики на то, что принципы орфографии дошедших до нас памятников прусского языка, не говоря о ее непоследовательности, соответствовали принципам немецкой орфографии своего времени. Краткость (обычно ударного) гласного перед согласным обозначалась геминированием согласного — ср. *dritten = kittans*, *mennern = tebbei*. Долгота же в открытом слоге обозначалась отсутствием такой геминации — *nehmen*. Подобная система, хотя и при наличии нового средства обозначения долготы (*geht* → *nehmen* посредством *h*), сохранена в немецком вплоть до наших дней. В прусском же с самого начала имелась и другая возможность графически противопоставить долгий слог краткому — обозначение долгот, связанное с обозначением ударения, ср.: *perōni*, *tāls*, *dīgi*. Аналогичная прусской тональность вокализма в литовском и латышском языках привела к отказу литовской и латышской орфографии от имевшего место в старых памятниках дополнительного обозначения на немецкий лад краткости гласных и к утверждению обязательного обозначения долгот (ср. ст.-лит., лтш. *wissvs* при совр. лит. *visus*, *visų*, лтш. *visus*, лит. *vyru*, лтш. *vīru* и т. п.). В сембском же диалекте прусского языка XVI в., который представлен наиболее полным, III Катехизисом, основным источником наших зна-

ний о прусском как языковой системе, все безударные гласные кратки, а отмеченные специальным знаком долгие возможны только под ударением. В перспективе это делает избыточной передачу краткости безударного гласного посредством геминации последующего согласного.

Остается сожалеть, что грамматика, за исключением нововведений *s*, *š*, *z*, *ž*, следующая орфографии XVI в., не уделяет внимания этому вопросу, как и связанному с ним вопросу звуковой системы. Раздел „Фонетика“ отсутствует, если не считать занимающих последнюю страницу III части замечаний о диалектах и произношении, а также четверть страницы введения, излагающую произношение букв алфавита. В обоих случаях вопросы фонетики и вопросы орфографии смешаны.

В адекватно прусском языке было бы невозможно сосуществование помеданского *ē* и сембского *ī*, как это имеет место в грамматике „Толькемиты“, ср. *mēnins* „месяц“ на с. 16 и *īst* „кушать“ на с. 31 — либо *mīnins*, *īst*, либо *mēnins*, *ēst*. Подобным же образом в нем было бы невозможно сосуществование помеданского *ō* и сембского *ā*, ср. *nosi* „нос“ на с. 34 и *biāsna* „боязнь“ на с. 33 — либо *nāsi*, *biāsna*, либо *nōsē*, *biōsnō*. Соответственно невозможно было бы в грамматических формах женского рода им. п. *gerto* „курица“ на с. 34 и *ranka* „рука“ там же — либо *gertā*, *rankā*, либо *gērtō*, *rōnkō*. Это в особенности касается парадигм класса 3 на с. 5, где узаконено сосуществование помеданских форм им. п. ед. ч. на *-o* (ср. *menso* E) и сембских форм на *-a* (ср. *mensā* III), причем именительный множественного числа дан исключительно в помеданском виде *-os* (но ср. им. п. мн. ч. *madlas* III). В адекватно прусском языке было бы либо им. п. ед. ч. *madla*, мн. ч. *madlas*, либо ед. ч. *madlō*, мн. ч. *madlōs* (с ударением на первом слоге).

В закономерно прусском языке было бы невозможно и сосуществование форм именительного падежа единственного числа

женского рода на *-ē*, *-e* и на *-i*, см. класс 4 на с. 5. В прусском языке это окончание (если не говорить о более редких формах женского рода на исторический *-ī*, которые и не имеются в виду грамматикой „Толькемиты“) восходит к долговому *-ē*, долгое же конечное *-ē*, сохраненное помеданским диалектом конца XIII в., в сембском диалекте XVI в. сохранилось только в ударной позиции (ср. *weddē* III „вел“, *sem̄ē* [zemē] III „земля“), в неударной же позиции дало краткое *-i* (*kurpi* III „башмак“). При этом если в помеданском долгое *ē* сохранено также в начале и в середине слова, то в сембском оно и в этих случаях перешло под ударением в *ī*, не под ударением — в *i*.

Фонетическое соответствие гласному *ē* по подъему — гласный *ō*, в прусском языке также претерпел изменения, хотя и более сложные. Не говоря о его переходе в *ū* после губных и гуттуральных (что необязательно для грамматических окончаний), в том же сембском диалекте безударный *ō* перешел в *ā*, который при грамматическом выравнивании во многих случаях оказался обобщен и на ударные позиции (ср. инф. *dāt* III „дать“). Что касается ударного *ō*, то он (вероятно, в суженой форме) сохранился (ср. *perōni* III „община“, *nosemien* [nōzemēn] III „наземь“). В конечной позиции *ō* выступает в виде *u*⁴ (*Steismu Piru* III „той общине“) и в виде *a* (обобщенное окончание 1—3-го л. ед. ч. в глаголе). Процесс сужения *ō*→*ō̄*, *u*, как и процесс сужения *ē*→*ī*, *i*, не мог не повлиять на более высокую пару исконных *ū*, *ī*, вызывая их дифтонгизацию *ū*→*oū*, *ī*→*ei*. Если бы первый процесс полностью ликвидировал исконные *ō*, *ē*, переводя их в *ū*, *ī*, то и исконные *ū*, *ī* должны были бы полностью перейти в *ou*, *ei*. Но первый процесс не завершился, сохранив в определенных позициях *ō*, *ē*. Поэтому и второй процесс не изменил фонологического статуса исконных *ū*, *ī*, их дифтонгизация не

ушла дальше предпочтительного варианта произношения (ср. колебания в написании *ū/oū*, *ī/ei* в III катехизисе, также и случаи, подобные *erkinina* III „освобождает“). Поэтому для последовательной орфографии адекватного прусского языка совершенно необязательно написание *toū* „ты“ или *boūt* „быть“, достаточно иметь в виду допустимость дифтонгоидного произнесения *ū*, *ī* (но ср. на с. 35 грамматики *-wīds* наряду с *ainawīds*, где написание *ij=ei=i*).

Для понимания тенденций развития грамматических форм сембского диалекта чрезвычайно важен закон сокращения финалей: в неодносложных словах конечные краткие несонантические слоги подвергаются полной редукции [(*buttan*)*tāws* „paterfamilias“, *empijrint* „собрано“], тогда как долгие безударные слоги, как и в любой позиции, сокращаются (*maddla*, *mūti*). При этом важно учитывать характерную для прусского языка монофтонгизацию циркумфлексируемых дифтонгов, благодаря чему появляются вторичные долгие (ударные) или краткие (безударные) финали часто суффиксального происхождения, ср.: *lasinna* [lazina] < **-ā* „положил“, *dāse* < *-ei* (непоследовательно) „даешь“, *billē* < **bilēi* < **bilējā* „говорит, говорил“. Совпадение полученных указанным путем окончаний ед. ч. *-ai*, *-ei* (с краткостью в безударном положении) с историческими опативными *-ai*, *-ei* при общем сокращении неударных долгот привело в языке катехизисов к обобщению конечных *-āi/-ā* и *-ēi/-ē* в качестве лишенных грамматической нагрузки вариантов популярных финалей, причем долгий вариант оказался обобщенным на ударные, краткий — на неударные позиции.

Понятно, что в адекватно прусском языке невозможно сосуществование редуцированного и нередуцированного (кроме труднопроизносимых сочетаний) окончания именительного падежа единственного числа существительных и прилагательных муж-

⁴ Поскольку это *-u* имеется здесь в *a*-основном дативе ед. ч., оно может быть окончанием, взятым из *u*-основ (В. Мажюлис).

ского рода *-as* и *-s*, как это имеет место в грамматике „Толькемиты“, ср. класс 1 на с. 4, а также *lauks* „поле“, *labs* „хороший“ на с. 36 и *krantas* „берег“ на с. 33 или параллельно *Deiwas*, *Deiws* на с. 37.

Если бы язык „Толькемиты“ был адекватно балтийским, то окончание дательного падежа единственного числа мужского рода имен прилагательных было бы не номинальным *-u*, как на с. 7, а прономинальным *-(a/e)smi* [ср. лит. *labam(u-i)*, лтш. *labam* и прус. *wargasmu* „bösem“].

Будучи адекватно индоевропейским, этот язык не допускал бы наличия двух разных окончаний именительного-винительного падежа среднего рода единственного числа для одних и тех же *o*-основ, как им. *-an*, *-on* и вин. *-an* (*-on*) на с. 4. В индоевропейских языках именительный и винительный падежи обоих чисел в среднем роде совпадают, чему противоречит различие им. *ka*, вин. *kan* на с. 13 и им. *ainan*, *ain*, вин. *ainan* на с. 7.

В органически развившемся прусском языке вряд ли сосуществовали бы формы *tannā* „она“ и *tennei* „они“, но имелись бы *tennā* „она“ (ср. *tenna* III) и соответствующая форма множественного числа женского рода *tennas* „оне“. Предполагая окончание *-os* для именительного падежа множественного числа женского рода имен прилагательных и соответствующие формы местоимений *stos* „те“, *subbos* „сами“ (с. 7, 12) и т. д., грамматика грешит против логической последовательности, отказывая в такой форме местоимению „она“ (с. 10 *tennei*), что едва ли разумно и для произвольного искусственного языка.

Пожалуй, наибольшие расхождения между языком „Толькемиты“ и адекватным прусским языком заметны в изложении грамматикой форм числительных (с. 13, 14) и глаголов (с. 23–32). Излагаемая на с. 13–14 парадигма количественных числительных, за исключением 1, 2, 3, представляет собой искаженную литовскую парадигму, причем числительные 4, 5, 6, 7, 8, 9 даны

с литовским местоименно-прилагательным окончанием именительного падежа мужского рода множественного числа *-i*, не имеющим никаких аналогов ни в самой грамматике „Толькемиты“ (что едва ли допустимо), ни в реально известном прусском языке XIII–XVI вв. Числительное *три* (3), кроме того, имеет странную и для „Толькемиты“ форму *tri*, подозрительно созвучную исторической славянской, образовавшейся после отпадения *-s* по славянскому закону открытых слогов, средний же род числительного *один* (1) *ain*, форма которого тоже не имеет аналогов в самой „Толькемите“ (хотя теоретически и не невозможна) подозрительно созвучна немецкому *ein*. Похоже, что автор грамматики решил восполнить недостающие формы в готовом виде из литовского, русского и немецкого (в словаре того же автора — и из латышского) языков, не предполагая, что любой язык — это системное образование (в частных письмах автор указывает на возможность широких „заимствований“ из упомянутых языков, хотя совершенно невероятно, чтобы в прусском языке была заимствована, скажем, из литовского вся система числительных). Что касается числительных второго десятка, то в адекватном прусском языке они вряд ли состояли бы из собирательной формы именительного-винительного падежа на *-ō < *-ā* в первом компоненте и корня *lik* во втором, как в литовском языке. Эти числительные настолько новы, что не только разнятся в восточно-балтийском, т. е. в литовском и латышском языках, но и в самом старолитовском языке обнаруживают неустоявшиеся варианты (ср. порядк. *antras liekas* и т. д.). Именно здесь скорее всего и следует ожидать совпадения прусской модели со славянской (ср. польск. *dwanaście*).

В списке порядковых числительных на с. 15 автор дает литовские местоименные формы *simtāssis* „сотый“ и *tussimtāssis* „тысячный“, забыв, что по правилам той же грамматики на с. 8 местоименные („определенные“) формы именительного падежа

должны быть *simtannis*, *tusimtannis* — с *n*, обобщенным из формы винительного падежа. Логическая последовательность снова нарушена.

Факты трех прусских катехизисов, как и их анализ в известной работе Я. Эндзелина 1944 г., говорят о несомненной нейтрализации по крайней мере в 3-м лице презентных и претеритальных форм тематических простых неинфиксных глаголов, не имеющих в презенсе мягкой основы (т. е. не типа *perlänke-i*), а в претерите *-ē* (т. е. не типа *ismigē*, *immi-ts*), т. е. глаголов типа *laipinna* III, как и форм глаголов с суффиксами *-ēj-*, *-āj-*, *-ij-*, т. е. типа *billē*, *maitā*, *cixtia/grikisi*. Кроме того, для большинства глагольных форм характерно совпадение всех лиц единственного числа, если не считать малочисленной группы атематических глаголов и случаев проникновения атематического окончания 2-го л. *-sei* в тематические глаголы (*druwēse* „ты веришь“ — ср. славянский!). Логика частотности известных форм говорит в пользу того, что глагольные парадигмы при их естественном развитии не различая лиц единственного числа, в последнем не различали бы презенса и претерита в достаточно обширной группе глаголов. Напротив, грамматика „Толькемиты“ на с. 23 предлагает такие окончания претерита, система которых не может быть обоснована не только данными языка прусских катехизисов (не говоря уже о его тенденциях), но и данными других балтийских языков (предписываемое на с. 23—32 литовское окончание 1-го л. ед. ч. *-au* никак не совместимо с окончанием 3-го л. *-ai*), а противопоставление претеритального окончания 2-го л. ед. ч. *-sai* презентному *-si* (с. 26 след.) не может быть обосновано и данными прочих индоевропейских языков. Сказанное, конечно, не лишает „Толькемиту“

права на собственную искусственную систему глагола в меру логики последней, а здесь не все благополучно. Непонятна система, в которой 3-е лицо презенса получает в классе 2 (с. 26) окончание *-ai*, так что если удалось избежать совпадения презенса и претерита в классе 4 (с. 27 през. *laipinna* — прет. *laipinnai*), то здесь оно сохранено (*maitai*). Создавая инфинитив *wirt* „werden“ (ср. с. 30), грамматика противоречит собственному правилу 2 на с. 19 о „вставке“ *-s*⁵.

В балтийском языке вряд ли был бы возможен прет. *gaunau* наряду с назальным през. *gauna* (с. 31), что проще объяснить недостаточной эрудицией автора грамматики.

На с. 23 грамматика рекомендует и иной вариант претерита — не различающую лиц форму на *-ts* (*däits*, *billäts*, *immats*), однако на с. 29 презентную форму 3-го л. *astits* с тем же окончанием называет конъюнктивной. Системность вновь нарушена.

Если бы в естественном языке форма на *-ts* действительно начала распространяться для различения многих совпавших форм презенса и претерита и, наконец, стала бы универсально-претеритальной (что вполне допустимо — ср., напр., *л*-претерит причастного происхождения в славянском, который в русском языке не различает и лиц подобно предлагаемой грамматикой форме на *-ts*), то ее появление в презентном контексте *kai tans sparts astits prei paskuliton* III 87₁₀ „auff das er mechtig sey zu ermanen“ было бы загадкой. С другой стороны, наличие атематических глаголов, различающих презенс и претерит, а также различающей их большой группы тематических глаголов (ср. *postānai* — *postāi*, $x_1 = ismigē$, $x_2 = weddē$, *polinka* — *y* при несомненных през. $x_1 = isminga$, $x_2 = wedda$, прет. *y = polika*) должно было предотвратить замену исконных форм претерита наиболее подходящими для такой

⁵ Создается впечатление, что те или иные, напр., падежные, показатели считаются не грамматическими, а лексическими, связанными с конкретным словом — ср. род. п. мн. ч. на *-an* и на *-on* — последнее в местоимениях с основой на *-s*: *kittan*—*kawijdson*, но *wissan* и *kasson* (с. 11, 13).

замены активными перфектно-причастными формами или же формой на *-ts*. Ведь не вызвало же совпадение латышских презентных и претеритальных форм 1-го лица единственного числа суффиксальных глаголов (ср. през. = прет. *runāju* „говорю = говорил“) исчезновения системы форм претерита, хотя тенденция заменять его в 1-м лице на перфект (*esmu runājis*) несомненна. В указанной группе глаголов, нейтрализующих презенс и претерит, прусский в своем развитии также должен был бы прибегнуть к перфекту, когда претерит не явствуется из контекста.

Для естественно развивающегося прусского языка формы на *-ts* могут иметь иное (отличное от предложенного Я. Эндзелином) объяснение. Проще всего связать их с претеритальным „пассивным причастием“, т. е. с формой, которая как в балтийских, так и в иных индоевропейских языках (ср. хеттский, санскрит) совсем необязательно обозначает пассив — ср. не только лит. *eitas kelias* „хоженный путь“, но и *tu pėsčias, o aš važiuotas* „ты пеший, а я едущий“. Несомненно, что и в прусском образовании на *-ta* от интранзитивных глаголов имели активное значение. Его распространение на транзитивные глаголы (*Isus [...] ymmeits sten geytien* „Иисус взятый хлеб = хлеба взятый, взявший“) в пересказательном контексте почти наверняка говорит об использовании *-ts* для передачи *modus relativus*, причем без различения лица, рода и числа, как это имеет место и в латышском *modus relati-*

vus на *-ot*, кстати, не различающем и времени. Последнее обстоятельство, свидетельствующее об утрате языком одной из двух основных временных форм *modus relativus* (который в литовском сохраняет оба ряда форм: през. *-as, -anti, -a* = лтш. *-ot*, прет. *-es, -usi, -e*), заставляет думать, что прусским утрачена первоначальная презентная форма *modus relativus* (на **-ms?* — одновременно с утратой пассивного презентного причастия на **-ma?*), оказавшаяся замененной формой на *-ts*, но уже при презентной основе (*astits* лит. „esąs“). После такой замены *-ts* и в претерите стало прибавляться не к инфинитивной, как в причастии (*dāts*), основе, а к форме 3-го лица претерита (*dāits*)⁶.

С применением грамматики Г. Крафта-Скальвинаса в „Толькемите“ создано немалое количество текстов. Это письменная корреспонденция, которой обмениваются живущие в разных городах члены общества, художественные поэтические и прозаические тексты. Все они представляют собой новопрусско-немецкие билингвы. Из художественных текстов в нашем распоряжении имеются „Сказания о короле Гейстуте“, 12 машинописных страниц новопрусского текста, 1984 г., и перевод Евангелия от Марка, 39 с., 1986 г., созданные Г. Крафтом-Скальвинасом, а также поэма „Героическая песнь о Витасе Вейтуминасе“, 8 строф которой и рассмотрим. Вот ее начало и параллельный перевод немецкого текста:

STA WÀRONIGRĪMA ESSE WĪTAN WEITUMĪNAN

ГЕРОИЧЕСКАЯ ПЕСНЬ О ВИТАСЕ ВЕЙТУМИНАСЕ

Ak, augtūma, toū augtūma,
gūlints stwī pa dangumans,
Ak, gillisku, toū gillisku,
gilli jūra, weltamēri!

О высота ты, высота,
лежащая под небесами,
о глубина ты, глубина,
глубокое море, океан!

⁶ При совместном обсуждении настоящей работы В. Н. Топоров дополнил указанные соображения ссылкой на следы перфектно-релятивных функций *л*-го причастия в русских говорах при общей утрате их в славянских языках за исключением болгарского, что относительно Т. В. Цивьян к особенностям балкано-балтийского языкового ареала.

Kas ioūmans-noūmans gerdauja
esse wūrans wàrondàrbans,
esse Witan Weitumīnan?

Kadden àussein' saule kāpai
kirša prūsiskai zemmēi
gimtas bēi stas maldas Wītas.
Kadden augai-dis šis bernas,
tāns geidaujai wissan zinnāt:
wissan mūkslan, buruwīrdans,
kāigi esketras stwi plauktwei,
līdaut kāigi sàkalas,
pēzint kāigi pēlis wilks.

Kadden bēi nīdaug wūraisin,
tāns pīrīnna sien wīrīnsnan,
trīd'ssempts wīrans irbhe ainan,
tāns subs bēi stas trīdessimptis;
bhe wīrīnsna, bhe draugīnsna
soūnai bēi-dei wàronin.

Анализируемый текст поражает безусловно прусским характером сочетаний *Ak, gillisku, toū gillisku! Kas ioūmans-noūmans gerdauja esse Witan Weitumīnan?*, если не обращать внимание на требуемое стихотворным размером (хорей) ударение, а форму *gerdauja* считать вполне допустимым в поэзии архаизмом. Все остальные фразы трудно совместимы или вообще не совместимы с адекватно понимаемым прусским языком. И здесь несовместимость зашла намного дальше дословного калькирования немецких оборотов (ср. *gimtas bēi = war geboren, subbai šai = hierselbst*) или путаницы в падежах, чем столь знамениты прусские катехизисы. Даже орфография менее последовательна, чем в XVI в. — ср. *jūra* и *ioūmans, na garimans* с ударением на предпоследнем слоге (хорей!) вместо *na garimmans, wanginnais* с ударением на первом, а не на втором слоге, непонятное написание *ej* и т. п. В фонетическом отношении обращает на себя внимание все то же невозможное в реальном языке сочетание разных диалектных систем — при общесембском характере текста (ср. *sīda*, где $i < *ē$) постоянно встречаются механи-

Кто вам — нам сказывает
о прежних подвигах,
о Витасе Вейтуминасе?

Когда золотое солнце поднималось
над прусской землей,
родился молодой Витас.
Когда он подрос, этот парень,
он жаждал все познать:
всю мудрость, заклинания,
как осетр плавать,
как сокол летать,
бегать, как серый волк.

Когда он был немного старше,
собрал он себе отряд,
тридцать мужчин без одного,
он сам был тридцатый;
а отряд, а дружина
были сынами героев.

чески взятые из эльбингского словаря формы, напр., *saule, nowimans, warnes*, соответствующие дериваты, напр., *taukinges* или близкие по форме к помеданским „заимствования“ из латышского, немецкого и литовского языков, напр., *pēzint, storos, cēla, ējai, (welta)mēri, gimtēnei* (в этом „заимствовании“ долгота и ударение вообще ошибочны). Не менее невозможно сочетание по-сембски редуцированных форм номинатива единственного числа мужского рода (ср. *wilks*, хотя вероятнее, что в этом случае свою роль сыграло не столь наличие в языке катехизисов форм *deiws, dellīks, laucks* и т. д., сколь латышская форма *wilks* — в языке „Толькемиты“ не лексика облачается в грамматические формы, но сами формы принадлежат лексике, механически переносимой из фонетически несовместимых диалектных и языковых систем) с прапрусскими (даже в эльбингском словаре *-is!*) = литовскими редуцированными формами, напр., *maldas Wītas, bernas, sakalas*. Непонимание унаследованного прусского языка и наивное „обогащение“ прусской лексики любыми латышскими и литовскими словами в их языковой

форме ведет к „обогащению“ прусской фонетики чуждыми языку фонемами, т. е. *s*, *ċ*, *ž*, напр., *kalcai*, *cēla*, *buċūs*, *oža*. Вводя (верно или ошибочно) формы с ударным долгим *ū* (хорей!), авторы текстов не задумываются о том, чтобы хоть раз привести их в соответствие с дифтонгоидным *ū* (ср. *toū*), напр., *jūra*, *prūsiskai* — скорее всего, связь между *oū* и *ū* вообще осталась вне внимания. Равным образом, при несомненной ориентации на сембский диалект как на реально засвидетельствованную языковую основу оживления прусской речи, осталось незамеченным, что в этом диалекте невозможны безударные долготы, подобные *lāwānins*, *dīrēis*, *ráudā*, *gérbē*, *wírinsna*, *pírinna*, вероятно, и *āinadī*. В последнем случае вновь встречаем невозможный в прусском тонированный *a*. Несмотря на прус. *posinnāts* III и данные литовского языка, глагол *zinnāt* представлен с чисто латышским оттянутым на первый слог ударением. Несомненно ошибочен просодический облик слов *gillisku* с ударением на втором слоге, *pírinna*, *wírinsna*, *aussein(a)* с необычной краткой первой частью дифтонга вместо удлиненной (акутовой!) второй, *ioūmans*, *noūmans* с ударением на последнем слоге, *augtūma*, *wanginnais*, *prēizikamans*, *raudā*. Не лучше обстоят дела и с грамматическими формами, ср. несогласованные *augtūma gūlints*, *epskrisia* (*sien?*), необычное для III катехизиса употребление падежей, как *kirša zemmēi*, *prā prēizikamans*, *na garrimans*, не говоря о сомнительном *sīda* (не „sitzen“, а „сидятся“!). Наибольшие возражения вызывает употребляемая лексика от возникшего по недоразумению слова „кроме“ — *irbhe* (взято из неправильно понятого фрагмента III 49_{16/17}: *Deiwas riks pereit labbai essetennan subbai ir bhe noūson madlan* „Gottes Reich kombt wol on vnser Gebet von ihm selbs“, „Царство Божие приходит прекрасно от себя самого и без нашей молитвы“, где *ir* — „и“ = „также“, а *bhe* = лит. *be* — „без“) вплоть до поразительной славянской формы *Lāna* названия этой известной прусской реки *Alna* (видимо, и здесь „заимст-

вование“!). На основе смутных ассоциаций с поверхностно воспринятым латышским и литовским материалом создаются дериваты с невероятными для прусского языка (*gimtēne*) и для балтийских языков вообще (*augtūma*) суффиксами. Последний случай, правда, может отражать и путаницу между ударением и долготой, что вероятно и в излишнем литуанизме (засвидетельствован корень прус. *laz-* — слова такого рода обычно не заимствуются) *gūlints*. Хаотически вводя латышские и литовские слова даже в неадаптированной форме (ср. лит. *greitai*, *skaistus sakals*), авторы текстов опираются на теоретическую установку Г. Крафта-Скальвинаса (изложено в переписке), что в случае, если бы прусский язык дожил до наших дней, он представлял бы собой смесь из прусских, латышских, литовских, польских и немецких слов (но, во-первых, он имел бы тогда иной статус — ср. латышский, который не был государственным языком вплоть до 1918 г., а во-вторых, прусская общественность занялась бы пуританизацией языка, т. е. прямо противоположно тому, что делает Г. Крафт-Скальвинас). Этот путь нельзя признать научным уже потому, что он служит прикрытием плохого знания собственно прусского материала (все, что непонятно или неизвестно, с легкой руки заменяется современными латышскими словами на том основании, что латыши-де контактировали с пруссами на Куршской косе!), а между родством и заимствованием не делается различия („родством“ объясняется предпочтение латышских заимствований польским и немецким!). Позицию Г. Крафта-Скальвинаса было бы легче понять и оправдать, если бы он сознательно признал, что создает искусственный межбалтийский (ср. эсперанто) язык из смеси трех языков, и не называл бы этот язык прусским. Тогда можно было бы согласиться с тем, что глаголы „видеть“ (*dīrai* вместо прус. *widdāi* III) и „смотреть“ (*dīreis*) выражаются одним словом *sehen*, что вместо прусского *nitoūlan* употребляется

литовское *nidaug*, вместо прусского *wārnei* „вбронны“ употребляется латышское *krauklei* без указания тона, вместо прусского *zmūniens* (кстати, прекрасная и непонятная прусско-литовская изоглосса) употребляется литовско-латышское *laudiens* (по-прусски, вероятно, „хозяев“), вместо прусского *dilans* — литовско-латышское *darbans* (соответствующий глагол лит. *dirbti* в прусском вообще отсутствует при богатом инвентаре собственных обозначений видов деятельности), вместо прусского *skīja* „поднималось“ — латышское *kāpai*, вместо прусского *ja*-основного *jūris* (ср. *jūr'ai* E) — литовско-латышское *jūra*, что наряду с прус. *nowimans* употреблено гибридизированное из литовского *lāwānins* (где долгота над первым *a*, видимо, означает ударение, оттянутое на первый слог на латышский манер), что вместо прус. *dergēis* введенный из лит. *šūdas* глагол *šudināis* с кратким (ударным!) *i* имеет не прусско-латышское *s*-, но литовское *š*-, следовательно, непонятно, откуда он „заимствован“. В произвольном непрусском языке было бы допустимо, что *lidaut* с долготой — это искаженное лтш. *lidot*, а *swešans*, *oža*, *cēla* имеют невообразимый для прусского латышский облик (для искусственного языка и не надо знать, откуда происходит *š* в латышском *svešs*). Из латышского „заимствовано“ и слово *waronis* (с латышской аттракцией ударения — ср. лит. *Veliūona*, *atskaluōnas*), хотя достаточно в самом прусском оснований для создания такого слова от корня прус. *war*- с суффиксом прус. *-ūn*-. Для исконно прусского языка нет оснований предполагать значение „однако“ у общебалтийского *jau*. Слово *plauktwei* „заимствовано“ из литовского, где оно значит не „плавать“, а „плыть“, что может быть безразлично для той или иной искусственной системы, но не безразлично для адекватно прусского языка. Лишь в произвольном искусственном языке возможен и славянско-балтийский гибрид *tri-d(e)ssempts* „тридцать“. С точки зрения такого языка простиительно непонимание

литовского глагола *pėžinti* (см. *pėžinti*), который значит не „генпен“, а „ковылять“, но вряд ли простиительно непонимание исконно-прусского слова *plēkins*, т.е. *pelkins*, которое означает „сермяги“, а никак не напоминающие белые накидки (*drimbis* E) плащи рыцарей. *wirinsna*, *drauginsna* свидетельствуют о непонимании того, что абстракты на *-snā* образуются от инфинитивов, из которых суффикс *-in-* произвольно вставлен в *wirinsna*, *drauginsna*. *zemmē* в значении „земля, страна“, а не „почва“, не засвидетельствовано, да и не могло быть засвидетельствовано в прусском языке, употреблявшем в значении „страна, земля“ слово *tautā* (из последнего без всякого основания сделана „нация“, очевидно, для придания языку видимости большей „родственности“ с литовским и латышским). При таком знании собственно прусского материала неудивительно, что не сделана попытка, с опорой на прус. *jeiti* „идите“ <*j*-, атематический прус. *kellewesze perioth* „возница едет (приезжает)“ = темат. лит. *joja*, слав. рус. *edu* воссоздать итеративную форму *jadātwei*, *jāda* „разъезжает“, *jadāi* „разъезжали“ (ср. лит. *tu po svieta jodei* „ты по свету разъезжал“) — гораздо проще, сославшись на „заимствования“, взять из латышского *braukāt* да еще с латышским же оттянутым ударением!

Следует особо обратить внимание на неукротимую леттонизацию новопрусского языка „Толькемиты“ (причину чего следует искать в большем знакомстве Г. Крафта-Скальвинаса и его коллег с латышским языком по сравнению с литовским), что находится в вопиющем противоречии с практическим отсутствием эксклюзивных прусско-латышских лексических изоглосс (ср. 3 случая *warrien* III — *varu*, E *nabis* — *naba*, *salme* — *salmi*).

Тем не менее, следует признать, что составление хотя бы и таких текстов специалистами, в особенности же составление грамматики нелингвистом Г. Крафтом-Скальвинасом является своего рода подвигом.

Миколас Л. Палмайтис